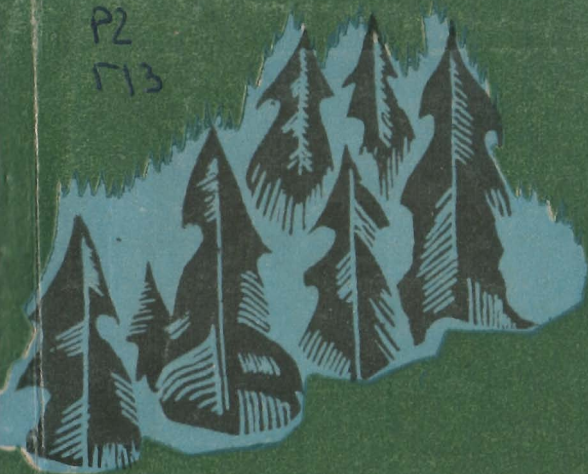


P2
Г13



ГЕННАДИЙ ГАДЕНОВ

•
В КРАЮ
ТРИДЦАТИ
ЁЛОК
•



ММ (ЛБ) Р2 Г-13
ГЕННАДИЙ ГАДЕНОВ

6.12.17
**В КРАЮ
ТРИДЦАТИ
ЁЛОК**

СТИХИ



КЕМЕРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1972

~~7-4-8~~

М-79

г. Ленинск-Кузнецкий
ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. Н. К. Крупской

К ЖИЗНИ ОН ПОШЕЛ В УЧЕНИКИ...

Когда думаешь о стихах Геннадия Гаденова, то прежде всего приходит мысль: плохо ли, хорошо ли пишет молодой поэт — стихи его не выдуманы. Он жизнью своей присутствует в каждой написанной строчке. «Немастеровитость», а зачастую просто неуклюжесть некоторых стихотворений Гаденова не нарочитое стремление к грубому складу строки во имя отрицания гладкописи — это скорее всего естественное выражение увиденного и пережитого. Потому веришь, когда он говорит:

Порывы малые глуша,
Веду я сам с собой боренье:
Грядет высокое горенье,
К нему готовится душа.

Поначалу может показаться, что молодой автор встает здесь в своеобразную позу. Но это первое впечатление будет опровергнуто всем строем книги, ее смысловой и душевной наполненностью.

Сопричастность к миру, к людским судьбам — вот то главное качество, которое стало двигателем многих стихов Геннадия Гаденова. Именно это качество может вызвать читательский интерес и доброжелательность к этому автору.

С недавних пор стал похожим на моду «уход писателя в жизнь», уход за поиском тем, героев, творческое «вживание» в предмет, им изображаемый. Геннадия Гадено-

ву «уходить» никуда не нужно: он прошел в свои тридцать лет серьезную жизненную школу. Он исколесил полстраны, испробовал несколько рабочих профессий и все это сделал не из-за легкомыслия или неуживчивости характера, а из жадной тяги к познанию мира, из-за стремления проверить себя в трудностях жизни, закалить свою душу. Этим, пожалуй, и отличается его нелегкое ученичество у жизни от модных «походов за романтикой», которыми и сейчас еще нередко грешат молодые и не очень молодые литераторы.

О своей романтике Геннадий Гаденов говорит так:

Романтика дней таежных
В любые мои дела
На нивелирных треножках
Пресекою вошла.

Сборник «В краю тридцати елок» — вторая книга поэта, но в главном — первая. Первая потому, что именно в ней Геннадий Гаденов сделал заявку на звание поэта. Заявку, на мой взгляд, серьезную и обнадеживающую.

Валентин Махалов



ПЕРВЫЙ ЧАС

Душа вне времени, наверно,
летит куда-то, горячась...
Но поджидает каждодневно
в глубокой ночи первый час.

За труд, любовь, траву и дождик
его ты должен превозмочь,
и ждать иного часа должен,
в котором отступает ночь.

Вот почему твержу на это:
«Душой пари, но чувством зри»,
чтоб не проспять мне час рассвета,
не проглядеть бы час зари.

СПОР

В спор вступаю, когда не могу
ни молчать, ни сказать: «Надоели...»

И тогда предлагаю врагу
расстояние русской дуэли.
Иногда пораженья терплю,
да, терплю,

но мои пораженья —
утвержденье того, что люблю
и во что я поверил
с рожденья.

Кто бы в спорах меня ни пытал,
как бы в спорах меня ни честили,
я свои убежденья впитал,
как бумага
чернила.

* * *

Когда заходит речь о славе,
о ратных подвигах людских,
я прежде думаю о сплаве
всех душ, погибших и живых.

Когда ведется о работе
прямой, серьезный разговор,
то у меня иной заботы
как не бывало до сих пор.

А если женщина тревожит
мне чувство, что других сильнее,
считаю я, что быть не может
любви огромнее моей.

* * *

И приведет меня печаль
к ней самой, той, единственной
на свете,
к той, для которой мы мужчины,—
дети,
и — ничего тогда не жаль.

И к новым бедам ты готов.
Нам женщины залечивают раны,
как осенью заклеивают рамы
от сквозняков и холодов.

В КИРЕНСКЕ

Бедовая волна на берег кинется
и разобьется, рябью мельтеша.
Как мне по нраву переулки Киренска,
в которых очищается душа!

Как будто я иду по свету странником,
могу зайти в любой мужицкий дом,
где угостит меня хозяин шкаликом,
начнут кулачить тесто в доме том.

Вот у калиток низкие скамеечки,
садись и разрешенья не проси.
Здесь, лузгая подсолнечные семечки,
сидят старухи в возрасте Руси.

Вот разговариваю с местным
старожилом,

все понимает с полуслова он.

И у меня его слова — по жилам,
поскольку я по матери чалдон.

На берегу рыбачки в мокрых платьях,
о, как умеют взглядами пытать!
Того гляди, обзаведусь симпатией,
и то пора, бродяга, исполать!

И никуда от этого не скроешься,
Очаг, семья... И — где бывшая спесь!
Вот почему я понимаю кореша,
однажды якорь бросившего здесь.

* * *

Задубев от сибирского ветра
и впадая совсем в забвенье,
покосилась изба старовера,
родовое имянье мое.

Но помилуй, господь, и надейся:
богохульник, пришедший домой,
здесь отыщет смиренное детство
с расписною на окнах зимой.

Так уверенней всяких колдуний
на исходе осеннего дня
на крылечке заставит подумать,
заколдует вдруг память меня.

А сама за соседней калиткой,
чтоб заметна была только тень,
подмигнет мне с лукавой улыбкой
и спрячется вновь за плетень.

Но не будь ты, Прасковья, царевной
и по-княжьки со мной не шали.
Будь, Прасковья, по-прежнему верной
деревенскою девкой в шали.

Не обучен владеть я гармошкой,
но гармошкой сомкну сапоги,
и тебя позову за окошко
в тальники, что грустят у реки.

Там разбросаны мокрые сети,
будто солнце промежду листвы,
только все говорят о примете,
что не сносит сентябрь головы.

И под крышей родимого крова
за предчувствие сказочных снов
вспомню детство далекое снова,
близко-близко почувствую вновь.

И разлягусь себе на полатях,
и увижу опять из окна,
как иконой в богатых окладах
над землю восходит луна.

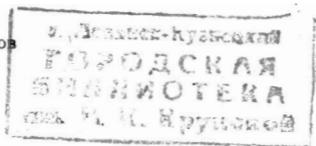
64217

* * *

Душе пожар необходим,
чтоб жаркий свет она рождала.
И мне того, что знаю, мало,
я большей жаждою томим.

И представлений прежних мир
становится предельно узок.
Я в нем страдаю, будто узник,
но не постичь простора в миг.

Порывы малые глуша,
веду я сам с собой боренье:
грядет высокое горенье,
к нему готовится душа.



ДУХ ЖИВОЙ

Неуютен день для глазу,
день холодный, ветровой,
А затопишь печку, сразу
по избушке — дух живой.

И когда покойно станет,
хорошо совсем тебе,
дух на дудочке сыграет
что-то детское в трубе.

Ощущаешь до рассвета
с тихой радостью в крови,
что гораздо в мире этом
больше света и любви.

Ну, а дух живой тихонько
вниз по крыше соскользнет
и с котомкою сторонкой
в даль по улице пойдет.

В шалаше, в рыбацкой лодке,
при дожде иль при луне
оттолкнет унынье локтем
и пошутит при огне.

Потому он пахнуть может,
беспокойный дух живой,
то рогожею, то рожью,
то ухою, то махрой.

А глаза, наверно, в синьке,
рябоват, наверно,
рус,
потому что, как в росинке,
в его сердце зрима Русь.

Дух живой, бессмертный малый,
я свечу зажгу в окне,

если будет ветер шалый,
так заглядывай ко мне.

Дай мне, дух, немного духа,
чтоб однажды на веку
донести стране до слуха
о тебе я мог строку.

Только он пройдет проселком,
подмигнет и — с глаз долой.
Не спеша идет, но с толком
по России дух живой.

МАСЛЕНИЦА

Лебедями белые метели
крылья опустили под лески.
Только здесь, где праздничные ели,
ни беды на сердце, ни тоски.

С гиканьем безудержная тройка
ледяной дорогой Чумьша
так помчалась радостно и бойко,
так, что занимается душа!

Это в Керлигеше с бубенцами
и цветами в расписной дуге
жизнь моя с началами-концами
понеслась по скованной реке.

Побросаю варежки в дороге,
ворот перед ветром распахну.
И взгляну впервые без тревоги
на девчонку сельскую одну.

Я пойти согласен в лесорубы
и встречаться с нею в тишине,
чтобы нецелованные губы
по ночам шептали обо мне.

Ну и удивительные мысли!
Не заметил, как настала ночь.
Звезды на дуге небес повисли
и куда-то убегают прочь.

Стойте, кони! Чудеса приемлю.
Удивляться буду не дыша.
Освещает масленица землю
золотою льдинкой Чумыша.

* * *

Как будто грустная немножко,
и в то же время весела,
шла баба пьяная с гармошкой
по главной улице села.

Откуда шла — сама не знала,
оцепенела вся душа,
Четыре сельские квартала
за ней следили не дыша.

Шла, опустив устало руки
от стирки, водки и тоски.
Гармонь, с плеча свисая, звуки
чуть издавала под шаги.

Сквозь жаркий шепот пересуда,
сквозь длинный-длинный вдовый день
все шла и шла она, покуда
не прислонился к ней плетень.

...Зачем сулил меха собольи,
корову, дом и петуха?
Ушел... И ей оставил с болью
одни гармошкины меха.

Не пожилось, видать, у Насти,
что получилось — не поймешь.
За трын-траву и за напасти
взять и не выпить отчего ж?

Пускай... Не пропадают бабы,
бывает жизнь еще хужей!
Она рукой махнула слабо
на всех непрощенных мужей.

И понемножку, понемножку
зашла в пустой и старый дом.
А на столе валялись крошки
и карты, битые тузом.

ПЕТУХ

Думал, что в деревне хоть поленишься,
Где бы и до полдня я проспал,
но петух с березовой поленницы
горло драть взлетел на сеновал.

Эх, не дал забыться снами сладкими...
Бабка, что давно уже глуха,
а и та чуть свет топчет пятками
под шальные крики петуха.

А петух, сказать тут надо, стоящий,
этакий хозяйственный — не тронь,
из российских — ладный и не тощий,
ярко-рыжий, как в лесу огонь.

Что ж, петух, я знаю, не бессонница
у тебя, а голос трудовой.

Просыпать рассветы очень совестно,
коль Россия вся встает с тобой.

* * *

Как по всей таежной Лене
коренной мужик, что кряж.
У него в дому ни лени,
ни потрав, ни драк, ни краж.

А у бабы ленской гладки
полнотелые бока.
И коль нет своей лошадки,
схомукает мужика.

А ему ль не быть чалдоном! —
не ударит в грязь лицом,
а ударит по ладоням
перед статным жеребцом.

Разведет руками баба,
кулаки войдут в бока.
Ей лошадушка была бы —
зацелует мужика.

И с игривыми шажками
тихо станет под крылец,
как закиданный снежками
в белых пятнах жеребец.

И когда уносят сани,
не смотри на косогор.
Эх, сибирские сказанья!
Берег. Лес. Мороз. Топор.

СТАРУХИ

Слышу в шепоте листьев я слухи
о свершении мирного дня.
Как осенние липы, старухи
окружают под вечер меня.

На скамеечке возле калитки
протекает беседа в тиши,
где когда-то собрал я по нитке
холстяную рубаху души.

И теперь, на четвертом десятке,
приобщась к посиделкам старух,
разговор их, певучий и сладкий,
стал улавливать тоньше на слух.

Что ни слово — то в песню годится,
что ни взгляд — хоть беги за холстом.
Есть кому на Руси поклониться
и грустить постоянно о ком.

А деревня — столица России,
вдоль которой когда ни пойдешь —
нежно матери руки скрестили,
будто все еще мы на груди.

Но молиться и плакать не надо,
а за то, что всегда здесь они,
почини по-хозяйски ограду,
и скамейку для них почини.

Пусть всегда пребывают на свете,
чтобы прошлое сердцем учили,
старушеньки родимые эти
с материнскою сутью земли.

БЕРЕЗА

В чащобе, по низу белесой,
где птица гнезда не совет,
на самой любимой березе
я вырезал имя свое.

Оставил зареванной крону,
но, всю сознавая вину,
я знал, что другую не трону,
а только вот эту одну.

Откуда, скажите, берется
безумство, коль разум сильней?
С тех пор почернела береза,
с тех пор она сохнет по мне.

СОЛОВЕЙ

Певцом России нареченный,
природный дерзкий удалец,
поет он в белый день и черный
до потрясения сердец.

На плаху голову, на плаху!
Что перед песней жизнь твоя?
Иль на груди порви рубаху
и счастлив будь от соловья.

И от безумного восторга
и плачь, и тут же хохочи.
А после песни долго-долго
коня в пути не горячи.

Пускай потянет ветром с поля,
повеет запахом ботвы
и душу защемит от боли,
от переполненной любви.

И жить да жить тогда охота,
и до чего все ладно так!..
Не зря растет у поворота
трава нехитрая — житняк.

И ты коня к столбу привяжешь,
войдешь в ограду, как без крыл,
и непонятно жинке скажешь:
— Вот уморил, так уморил...

* * *

Живет, векуует бабенка
и — что ей людская молва...
Не то ли она разведенка,
не то ли какая вдова.

У многих давно на примете,
наверное, не без причин:
ведь в бабье короткое лето
всегда понимают мужчин.

И к ней в параллельные сроки
с одною душевной бедой
приходит старик одинокий,
и я прихожу, молодой.

Не старица, не молодица
с улыбкой встречает не зря:
в мамаше она мне годится,
годится ему в дочеря.

А нам вот хотелось бы сильно,
чтоб, выслушав нас до конца,
пригрела б меня не как сына,
его же — не как бы отца.

И надо на что-то решаться,
и выбор один надлежит:
иль стоит ей в прошлом остаться,
иль в будущем стоит пожить.

* * *

Дверь закину на щеколду.
Там,
на улице,
темно,
И прижмусь к окну щекою,
запотеетя окно.

И неожиданно загруститя
и подумаетя мне,
что пора бы повалитяся
снегу белому в окне.

Снег пойдет и разойдетя,
и начнетя волшебство:
детство вдруг ко мне вернетя,
с детством — жизни торжество.

СНЕЖНЫЕ СТИХИ

1

От выпавшего за день снега
сегодня будет ночь бела.
Для одного
для человека
сегодня будет ночь светла.

О ледизну узорных окон
он охладит свой жар лица
и просветленно
и глубоко
себя осмыслит до конца.

И в снегом обрамленной раме,
смешного видя двойника,
он вдруг письмо напишет маме,
что все к хорошему пока.

2

Все существующее зримо
благодаря тому, что день
передает неповторимо
не только сам предмет —
и тень.

А это добрая примета,
что свет,
он главный наш предмет,
когда в нас будут тени света,
тогда в нас будет
полным свет.

А снег —

тень света.

Это, впрочем,
открыл однажды человек.

Как часто, прибегая к ночи,
мы все надеемся на снег!

И снег, идущий с небосвода
от назначенья своего,
не только торжество природы --
и человека торжество.



ТУМАН

Подземным радуясь мытарствам,
я по утрам в сплошном обмане:
шахтовый двор подводным царством
едва колышется в тумане.

Загадочно смещение улиц,
случайных лиц, теней и линий.
Мороз — талантливый безумец,
он из тумана выткал иней.

А мне б огонь и наковальни,
чтоб из железа сделать угол, —
углы копра и крыш овальные,
везут вагоны круглый уголь.

Так и пахнуло чем-то банным...
Глаза глядят, как с ними вровень
перекрывается шлагбаум.
Пары пускает маневровый.

Один шахтер поправил каску
и руки спрятал по карманам.
Всегда белы и плавны краски,
когда душа земли туманна...

Рудознатец Михайла Волков в 7 верстах от Верхотомского острога в 1721 году обнаружил «Горелую гору» 20 сажень высоты. С тех пор стало известно о сибирском «горючем камне».

ГОРЮЧИЙ КАМЕНЬ

Шла грозовая туча, долго шла,
всеvyšшего исполненная гнева,
потом вблизи острожного села
огонь вдохнуло в черный камень небо.

И молния застыла навсегда
в прожилках камня, в самой сердцевине
С горы Горелой вешняя вода
несла осколки угля по долине.

Был рудознатец опытен и смел,
он землю трогал чуткими руками,

Он гениально разгадать сумел,
что это перед ним горючий камень.

И вот она, великая пора —
в масштабности такой на диво свету
идет горючий камень на-гора,
как будто разбирают всю планету.

Держу я впереди себя ладонь,
чтоб ковш с металлом видеть было
легче.

Так возвращаем небу мы огонь,
но только через доменные печи.

У ПИСАНИЦЫ

Земли Кузнецкой первые художники,
я перед вашим гением склонен.
До нас в рисунках вы упрямо дожили,
минуя ход безудержный времен.

Наскальные творения над берегом
из древности пришедшей Томь-реки
я свято чту прикосновеньем бережным.
они мне и понятны, и близки.

Так трогают глаза любимой женщины,
а здесь глаза лосей пронзили даль,
в них радость жизни разлита
торжественно
и гибели трагической печаль.

Но бег животных в камне продолжителен,
в стремительных фигурах — сам порыв,
Здесь издавна познали вечность жители,
свой эпос на скале изобразив.

Придут иные времена великие,
мы тоже будем древними людьми.
А что оставим на земле реликвией,
к потомкам преисполнившись любви?

Поднимемся над временем и звездами
и вновь вернемся к берегам родным.
Все сохранит земля, что нами создано,
когда мы сами труд свой сохраним.

ТРЕТЬЯ ПОЛКА

Мне есть на что оглянуться —
в Сибири огней каскад.
И мне не стыдно вернуться
хоть на десять лет назад.

Я там, по-мальчишески колкий,
шагнув за детства между,
на третьей вагонной полке
с ладони в окно гляжу.

Романтика дней таежных
в любые мои дела
на нивелирных треножках
просекою вошла.

Мне ставят в колеса палки,
но я не очень тужу.
Я с третьей вагонной полки
на эти козни гляжу.

И мне навсегда по нраву
стремленье, движенье вперед,
Куда? — меня спросят по праву.
— Туда же, куда народ.

И вновь перелески, поселки —
в таежную даль спешу.
Я с третьей вагонной полки
на мир до сих пор гляжу.

НА ПОДХВАТЕ

Все люди
 как люди,
 работают запросто —
и дел по горло,
 и времени хватит.
Верусь за работу и я
 после завтрака,
но я на подхвате.
Я на подхвате...
Меня посылать начинают
 за гайками,
потом за ключами.
И новые просьбы...
Секунды мои
 получаются с гаками.

БАНЯ

Я в банном деле опытен.
Для новичков-гостей
Устрою в бане с копотью
пропарку до костей.

В моих руках все ожило.
Топлю — с меня и спрос.
Я воду всю из озера
в кадушку перенес.

И, натопив поленьями,
что боже сохрани,
несу большие веники —
зеленые огни.

А парни, парни парятся.
Я вижу в блеске глаз,
что баня очень нравится.
В тайге, да в первый раз!

И сам, желанье выразив
забраться на полок,
снимаю пару кирзовых
растоптанных сапог.

Один кричит взволнованно:
— Я больше не могу!
— Да нет, давай на полную
сибирского парку!

Друг друга так напарили,
что свет нам — колесом.
И крепко спят напарники
в траве здоровым сном.

* * *

Над останками мамонта
в устье реки Ирелях
я сижу у огня,
опершись равнодушно на посох.
Никогда ничего
не сбывается в этих краях,
и деревья стоят
в неестественно страждущих позах.

Мне пора бы в дорогу
по вечным снегам в Оймякон,
но при мысли о ней
стынут жилы,
как речка Усть-Нера.
Предлагает построить зимовье —
якутский хотон,

мой товарищ,
мой друг,
мой напарник
мужчина Валера.

Археолог мужчина Валера
устал от земли,
он-то знает историю
нашей старушки-планеты.
На руках у него
все морщины ее пролегли,
на лице у него
все печали планеты
и беды.

Только надо идти нам
и вызвать ковер-самолет.
Ляжет где-то в музее
на Севере найденный мамонт.
Соберется народ посмотреть,
будет думать народ,
как при силе своей
был тот мамонт
природой обманут.

Жить да жить бы гиганту,
шагая по стылой земле,
и себя отстоять
с холодами
в отчаянной драке.
Только жизнь в угольках
остается на теплой золе,
где мы скоро поставим,
как мамонтов,
грозные драги.

И железные бивни
вгрызутся весной в мерзлоту,
в золотую руду,
что как солнца застывшие слитки.
Потому я не верю
в земную навечно беду.
Здесь мы были не зря.
Мы свои собираем
пожитки.

СЕМИРЕЧЬЕ

Куда б судьба ни заносила —
иль близко или далеко,
но на губах моих, Россия,
твое парное молоко.

Так на крыльце с грозинкой пальца
при неизбывности любви
ты проводи меня, скитальца,
и в край чужой благослови.

А в том краю семь рек напойт
и пустят горы на ночлег,
а степи ветром грудь наполнят
и тем запомнятся навеқ.

А в том краю в любом ауле
вослед рукой махнет апа,
чтоб ветры только в спину дули,
и чтоб легка была тропа.

А в том краю, — да кто не знает! —
Такой не сыщешь на земле,
живет со звездными глазами
одна девчонка, Сауле.

Мне без России невозможно,
и слышу тихое — вернись.
Но я мужаю оттого, что
в степи казахской пью кумыс.

ЕГЕНСУ

И опять я в гостях у песчаной земли,
мы друг друга пойдем, Егенсу.
Так под осень на крыльях своих
журавли
твой горячий песок унесут.

О тебе мне камыш нашептал в тишине,
о тебе говорила на поймах трава.
Это ветры твои прилетали ко мне,
семенами в душе оставляя слова.

Я хочу их сегодня сказать чабанам.
Мне у этих людей находиться в долгу,
но, скитаясь по самым песчаным краям,
может, им я когда-то строкой помогу.

Ай, рахмет, аксакал, и спасибо, апта,
человечеству нужен ваш дар.
И до самой Москвы у молвы есть тропа
с перекличкой овец, с перекличкой отар.

Люди дальних отгонов, хочу, чтобы
к вам
приходило огромное счастье всегда,
как в степи протекает по вашим рукам
егенсу — поливная вода.

МАНГЫШЛАК

М. Балыкину

Я б любил пустыню каждую,
если б не был в той, одной,
где прокладывали к Каспию
через ветры путь стальной.

Мы прошли, надеждой полные,
всю пустыню напрямиком,
И от радости не помнили
как все было, но потом

горизонт стоял, как ярусы,
преломленный в мираже,

Волны нас встречали яростно
ростом в девять этажей,

а земля качалась розово,
и казалось, что вдали
будто тысячи бульдозеров
море к берегу гребли.

ДВОЕ

Земля казалась
другой планетой,
вздувались сугробы
и лопались в вихре.
Двое молчали,
ища ответа.
Двое молчали,
двое притихли...
Один
впервые на жизнь свою
зол,
спрятав в планшетах
чертежи,
руки свои
опустил на стол,

как будто жизнь
на него положил.
Второй,
заскрипев на нарах,
глотнул немного воды,
в сотый раз прохрипел:

Надо...

И глухо сказал:

— Иди.

И первый
порывом ветра,
в рюкзаке образцами звеня,
будто в туманность
шагнул Андромеды,
уверенно зная,
что это Земля.

В ЮРТЕ

Где гостем быть, там быть и другом.
Я другом стать всегда готов.
Садятся в юрте только кругом,
поскольку нету в ней углов.

И вот открыв тундук над юртой
так, чтоб на гостя свет упал,
в себе уверенный и мудрый
напротив сядет аксакал.

И вот в одной руке с тетрадью
и пиалой в другой руке
уже я в юрте не Геннадий,
а говорят мне — Геннике.

И я запомню это утро,
и этот, с чаем, дастархан.
Ты для меня, большая юрта,
родной раскосый Казахстан.

Твою взаимность понимаю,
твоих людей, твои дома.
Лежит вокруг меня джайляу —
в цветах зеленая кошма.

Учусь медлительно и трудно
так говорить тебе слова,
чтоб обо мне в другую юрту
пошла бы добрая молва.

* * *

С. Шевкову

Живешь то склонный к суете,
то склонный к замкнутости сна.
Как хорошо, что рядом те,
кто понимает с полуслова.

И вспоминаешь вдруг, как честь,
что у тебя, незримо близки,
еще на свете где-то есть
друзья без встреч и переписки.

Но так они живут вдали,
так разбрелись по свету белу.

как будто только что ушли
по незначительному делу.

А за грядую лет былых
под всех вагонов перестуки
и не состарит память их,
и не изменит их поступки.

Они из тех, о ком давно
мы говорим в прошедшем — «были»,
но с ними связаны в одно
все наши случаи и были.

Поймешь потом — придет же срок —
свои удачи и просчеты,
но с ними многое ты мог,
и смог бы многое еще ты.

Но стой, минутку помолчи,
последуй мудрому совету,

и с ними ты опять в ночи
ведешь пространную беседу.

Они являются тебе,
они всегда незримо близки.
Так и живут в твоей судьбе
друзья без встреч и переписки.

В БОЛЬНИЦЕ

Доктор потерпеть немножечко просит,
а сам, ощупывая, вертит меня и вертит,
как будто заворачивает в горячую простыню,
которая только что из-под утюга, наверно.

Но почему же, профессор, вы бледны, как
покойник?

Как я убедился, у вас здесь не так уж плохо:
каждому человеку отведено по койке, —
лежи себе, выздоравливай, охай.

Сосед мой прошелся, потом он прилег, как
с устатку,
хотя лежать и лежать целый день — его дело.
У него чуть пониже локтевого сустава
выколото почему-то имя моего деда.

Нас было трое, но третьему не судьба, как
зидно...

Утром его унесли. Забудешь такое не скоро.
А перед этим он все просил нас докушать
повидло,
потому что он заплатил за него рубль сорок.

А нам еще жить, подчиняясь желанию риска,
и быть плотогонами, атомниками, врачами,
и даже поэтами быть, чтоб все чувствовать
близко,
чтоб времени комель поддерживать крепко
плечами.

И думать, что смерти на свете никто
не боится, —
Боятся жизни стерильной. Иначе б мы
не были вечны.

...А ночью в притушенных коридорах
больницы
медсестры в белых халатах мелькают,
как свечи.

* * *

Все может с человеком приключиться,
и даже от предвиденных причин.
Он — бесконечно малая частица,
и нет в природе меньших величин.

Глаза его, как дальние миганья.
Он затерялся в уголке земли.
И он бессилен против мирозданья,
которое прикажет вдруг: «Замри!»

Но человеку дан природой разум,
что, через грань стихии перейдя,
все разместил в себе свободно разом —
вселенную и формы бытия.

И вот, поняв свою возможность верно,
осмыслив век и переделав век,
до величин больших неимоверно
поднялся над природой человек.

Но никогда бы он не смог подняться
и выйти навсегда из полной тьмы,
когда б к нему не приходило ясно
познание «Я» через познание «МЫ».

АКСОРАН

Я поднимался медленно на сопку
по камням в неразгаданную синь.
И благодарен был земному соку,
что тек во мне и прибавлял мне сил.

Когда я вырос на вершине самой,
предчувствуя могущество в груди,
Вселенная открылась панорамой
и все, что видел, было впереди.

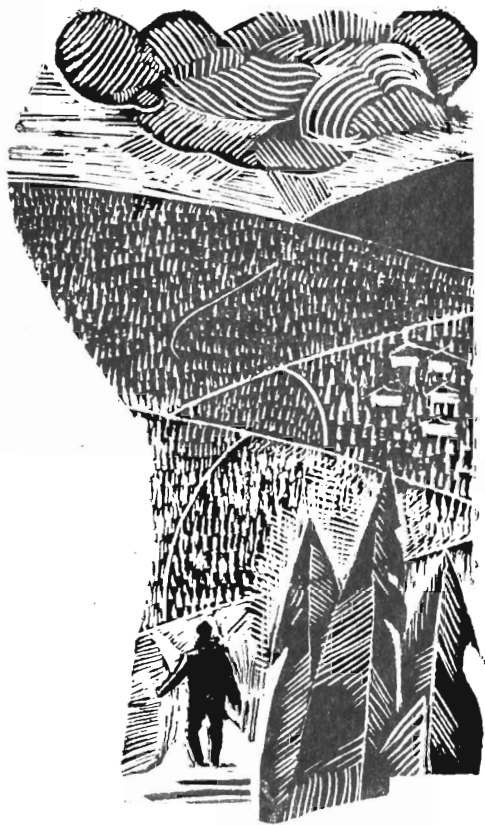
Я поднял руку — в небе солнце встало,
из тучи выйдя вдруг наискосок.
Не удивился я тому нисколько
поскольку сам над миром был высок.

Я к туче потянулся — треск и грохот
внезапно покачнули шар земной.
Отпрянула рука: Шел ливень охоть
на черных пашнях после посевной.

Еще рукою я повел немного —
паслись стада спокойно на лугу.
И понял я, что даже больше бога
на свете сделать доброго могу.

Дитя земли. Мне все живое жалко,
и я еще слегка качнул рукой.
Лежало предо мной село Ольжанка,
где Ольга шла с колодезной водой.

За Ольгу, за стада, за всходы хлеба,
предвидя сверху всякую беду,
остался я держать на сошке небо
и ни на шаг с вершины не сойду.



ВЕСЕННЕЕ

Менять листву, менять одежды
негласно требует весна,
привычки, мысли и надежды,
чтоб счастьем жизнь была полна.

Так вот и я, ведомый чувством
грядущих добрых перемен,
преображен каким-то чудом,
и мне весны приятен плен.

Иду, ладонями касаясь
потоков солнечных весны.
Как хочется, чтоб не казалось
мгновеньем чувство новизны!

Живу, в душе плохое что-то
на всякий случай не храня:
для давних ссор, обид и счетов
нет нафталина у меня.

Так пусть весна в права вступает,
большая ранняя весна,
нас очищающе меняет
и не кончается она!

ПЕРЕВАЛ АРХАРЛЫ

Перевал Архарлы,
перевал Архарлы,
Мне твой ветер
в ладони влетал,
и поил ты меня
из прохладной скалы,
и подолгу стоял я
у зоревых скал.

Я запомню их,
красные камни твои,
сохранившие с кровью росу.
Я запомню те камни,
как помнят бои
и Черкасск,
и Сарканд,

и Копал,
и Аксу.

Мастера-камнетесы
пoныне стучат,
высекая на них
имена,
перед которыми
скорбно стоять и молчать
будут все времена,
будут все времена.

О граненые красные камни,
что близ
и дорог, и селений
стоят!..
На земле то один,
то другой обелиск,
а земля
в изголовье
уснувших солдат.

Я хотел бы
твоей высоты, перевал,

и ущелий твоих глубину.
Ты мне дай на прощанье
такие права,
чтоб я высек на склоне
хоть строчку одну.

Я бы высек ту строчку
рукою своей,
чтобы клятвой
звучала она.
От гражданской войны
и до завтрашних дней
революция мне,
как прозренье,
нужна.

Ну, прощай, перевал.
Вот архар у скалы
высек искру
и снова пропал.
Пусть на камнях твоих
отдыхают орлы
и тебя стерегут,
перевал.

МАЙ

Несешь раскованные воды,
но громом памятно ударь.
Ведь с давних пор в любые годы
ты пахарь мирный и бунтарь.

Бунтарь, когда в ответе небо
за все содеянное зло,
когда нужны колосьям хлеба,
дожди и вешнее тепло.

Идешь светло, освобожденно
среди всех месяцев других,
и ноцно думая и денно
о нуждах малых и больших.

И пусть еще ледок в колодце,
и чьи-то сны пусть не сбылись,
но почки глянули на солнце
и — голубою стала высь.

Тебя мы праздником, не богом,
по всей планете нарекли.
Тогда иначе отчего бы
траве являться из земли?

Входи в дома, в стихи и песни,
ты нам всегда необходим,
чтоб старым было не до пенсий
и не до грусти молодым!

* * *

Говорила:

— Будет ведро!

Только дождь, как из ведра.

И твои пустые ведра

он наполнит до утра.

Нам с тобой у тихой речки
хорошо и под дождем.

О любви мечты и речи
вместе с речкой поведем.

Нас укроют ели, сосны,
полыхнет костер в бору.

Сядем мы к ночному солнцу
собеседнику-костру.

Если любишь, так останься,
не носи домой воды.

Отвечает:

— От согласия
далеко ли до беды.

— Да останься,
на вот куртку!

Ничего не говори.

Унесем с тобою утром
ведра полные зари.

УТРО

Был город нынче в небесах,
шли облака, земли касались,
они у женщины в глазах
большими тайнами казались.

Но час раздумья мне был дан,
и всей владел я тишиною.
Молчал котельных труб орган
по-над кирпичною стеною.

Загадок не было в окне.
Антенны, рельсы и панели,
Деревья мерзлые во сне
черты реальные имели.

Плоть из железа и стекла —
чуть тронь — и ощущалось звонко.
Спеша, по улице текла
зимы последняя поземка.

И завершилась эта ночь
сознанием, что мир не враки —
от старой свалки долго прочь
брели бездомные собаки,

МНОЮ ОТКРЫТА СТРАНА

В этом августе я из города выселился
туда, где совершенно дика земля.
Спокойная, как петля на виселице,
чуть покачивается на ветке змея.

В руки плоды наливные напрашиваются,
падает яблоко — отчаянная голова,
и — нивесть откуда вдруг выползают
ящерицы,
как из земли весной прорастает трава.

Пришел я сюда ни о чем не думающий,
природа живет и живет, ни о чем не тужа.
Но вот уже в одно красивое туловище
входит пуля из моего ружья.

Мозг из оленьей кости выколупывая,
чувствую, что в сущности жизнь странна.
Прости за эти грехи, колумбовая,
мною открытая нетронутая страна.

И меня от кощунства открытия высвободи,
могу исповедаться, но исповедь — ерунда:
природа сама откровеннее исповеди,
но люди-то не послушают, проповедуя
города.

О будущее земли, ты такое непознаваемое!
Не начинается ль Хиросима
с первопроходческого костра?
Это — цивилизация так называемая...
Гляди мне в глаза, природа, ты ведь мудра.

СУД

И будет сон. Но это будет суд,
когда миры, что вокруг стоят, огромны,
вдруг на тебя все бури понесут,
все грозы и неслыханные громы.

На суше невозможное творя,
почувствовав, что ты сейчас подсуден,
из берегов поднимутся моря
со всеми кавалькадами посуды.

Взметнешь кулак с проклятьями тогда
так, что рукав засучится по локоть,
но, скрежеща в суставах, города
тебя обступят и вот-вот поглотят.

Треск проводов замкнувшихся, стук
рельс,
бессонность ресторанов, шум редакций
в тебя влетят, и закипишь ты весь
сильнее внутриядерных реакций.

И ослепит свет окон, как бельмо,
и не сдержать тебе в стихийном реве
собак, с цепей сорвавшихся, бельё,
летающее с хозяйственных веревок.

Но оттеснят вдруг этот кавардак
рабочие, студенты, землепашцы,
и ты опустишь мстительный кулак
и разомкнешь тускнеющие пальцы.

И четко, в окружении толпы,
свою судьбу иным доверив судьбам,
что значишь ты и что пророчишь ты,
ты будешь говорить суровым судьям.

С последним словом полетишь в обрыв,
исчезнет пред тобой столпотворенье,
и тут проснешься и, глаза открыв,
поймешь, что это только наважденье.

Но, черт возьми, кто б ни был в мире ты,
ты каждый час пред ним за все в ответе
и от суда не спрячешься в кусты
и ни на том, и ни на этом свете.

* * *

Давно я желаньем одним дышу,
и после решения трудного
тайком я имя твое уношу,
как в детстве соседского турмана.

А мне навстречу слепые дожди...
Вот она, человека трагедия —
Любить — люби, ничего не жди,
а жди — ничего не требуя.

Я тоже как все, я — как и любой,
и мне по закону потребности
должна быть дана с надеждой любовь
и строгая норма ревности.

А ветер крепчает, листву тебе,
холодный, осенний, осинный.
как же я буду теперь без тебя?
А ты как будешь без имени?

ОБРАЩЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ

Неси спокойно, женщина, печали —
спокойствие достойней мятежа,
когда стоит за слабыми плечами
мужская безрассудная душа.

Мужчина — это первый твой ребенок.
Будь вечно всепрощительной к нему,
ищи подход, который был бы тонок,
и он поймет когда-то, что к чему.

Об истине еще не кануть спорам,
и быть боям за бытие не раз,
и ты пройди с ним тяжкий путь,
которым
прошел род человеческий до нас.

А вот и я склоняюсь на колени,
прошу благословленья и руки.
Не откажись от всех мирских лишени
и мне долготерпеньем помоги.

СУРОВОСТЬ И НЕЖНОСТЬ

Жизнь научила стать суровым,
иначе быть и не могло,
поскольку добрым тихим словом
не удержать любое зло.

И то, что нежен я — не враки,
свою я счета не всегда:
однажды после крупной драки
в меня кровь женщины влита.

Суровость, нежность... Постепенно
во всех скитаниях своих,
чтоб не давать большого крена,
уравновешиваю их.

* * *

Вот и мне не до розовых тем,
в коих ложь приходится плесть.
Я молчу. Я подолгу нем.
А молчанье золото есть.

Нелегко дался чистоган:
даже мелочи бытия
я в себя кладу, как в карман —
пусть вывертывают меня.

Самородки тяжелых дум
не размениваю на медь.
Мимо всех соблазнов иду,
чтоб свою мне мощну иметь.

Потому она тяжела
и порою не по плечу:
Чтобы не было в мире зла,
все грехи искупить хочу.

И свои, и чужие. Все.
Я за жизнь, а не за житье.
Так чувствителен золота вес,
Как я чувствую слово мое.

Только где-то оно совсем
затерялось, ищу его.
Прогоняет ночную темь
на лице моем торжество.

* * *

Не искал, а пришла ты сама, -
ты хотела от лирика неба.
А потом ты сходила с ума
от нехватки насущного хлеба.

Только жил я с другой в голове,
я любил эту землю, и очень.
Ты меня ревновала к траве,
ревновала к бумаге и ночи.

Если искра летит от огня,
то себя в одиночестве губит.
Ты уходишь опять от меня,
как улыбка печальная в губы.

УДАЧА

Живешь на свете и удачи хочешь,
становишься с ней празднично иным,
Но иногда за нею ходишь, ходишь,
а все надежды — будто дальний дым.

Но можно с этим как-то примириться
сослаться по привычке на судьбу.
Да больно видеть, как она стучится
в чужую, незнакомую избу.

Ее пригреют ласковые руки, —
вот, мол, какое счастье для семьи!
Но все равно испытываешь муки, —
ведь то твоя удача, черт возьми.

Уйдешь в толпу курящий, невысокий,
и вдруг там кто-то хитро подмигнет,
с твоей удачей, будто бы с авоськой,
набитой доотказа, промелькнет.

Но я живу и никогда не плачу.

Когда-нибудь в смурной дождливый час
меня застанут в драке за удачу,
что будет в первый и последний раз.

БАБУШКА

Улица, улица...
Утречком под окном
прокричала курица
петухом...

Бабушка головушкой
покачала вдруг.
Перегрызлись золовушка
из-за брюк.

У соседки-касаточки,
(видно, все одно),
грудь разбила ласточка
об окно.

Бабушкой проронено,
что это на беду.
Пришла похоронная
в семью ту.

И сказывали-баяли,
что, сбежав к гумну,
собака выла-лаяла
на луну.

Бабушка перекрестилась
на это скорей.
У кузнеца Силова
дом сторел.

Напротив окошечка,
запрыгнув на плетень,
умывалась кошечка
целый день.

У бабушки поспели
оладушки горой.
Приехали с Пospelихи
кум с кумой.

Паутинка тянется
чуть не на плечо,
с потолка спускается
паучок.

Бабушка вести слушает
из других концов.
Только сели ужинать —
письмецо.

Сторона-чужбинушка —
не материнский кров.
Но пишет родный сынушка:
жив-здоров.

Валяется лошадушка
в оградке в пыли,
а к полночи взбалмошно
дождь полил.

Бабушка переваливается
на другой бок.
Все хорошо кончается,
видит бог.

* * *

Мы теперь живем в деревне Греховкс.
где хорошо бежать по травке босым.

Но почему мы, мама, переехали?

И почему

оставили

Барбоса?

Вот ель, как пес. Она идет на лапах.

Мне нравится в тиши деревья слушать.

Но почему мы, мама, спим на лавках?

В кроватках, мама, было бы нам лучше.

Огромное взлохмаченное небо

все дальше уплывает над домами.

Но почему у нас так мало хлеба?

Здесь маленькая булочная,
мама?

Соседки друг на дружку все походят,
и любят все они вечеровать.

Но почему они

к нам

часто ходят

и ничего почти не говорят?

И я молчу. До вздохов нет мне дела.

Иду к окну.

Смотрю в ночную тьму.

Ну, почему ты, мама, овдовела?

И почему бывает

«Почему»?

ИДИЛЛИЯ

(Ш у т к а)

Все это теперь далеконько-далече,
где с первым зазимьем в родимом селе
затопят хозяйюшки русские печи,
и станет уютно на снежной земле.

В колоду топор загнавши по обух,
сосед мой по детству, что верит в судьбу,
отрусит старательно веничком обувь
и чинно войдет по крылечку в избу.

В то время проществует с холода белый
неспешно на кухню кот Васька-прохвост.
И вспомнит хозяин, что в пору метелей
коту подрубить полагается хвост.

И снимет он шапку. Растает снежинка
в усах щекотливо — ищи не ищи...
Поставит на стол хлопотливая жинка
ухватом из печки горячие щи.

К ним будет дымящийся мякиш
буханки,
а к чаю — из белой муки калачи.
И стрельнут глазами детишки
с лежанки,
и дружно посыплются с теплой печи.

Отец их возьмет деревянную ложку,
резную, с фитюльками ложку свою,
начнет ребятня до последней до крошки
работать руками в застольном бою.

Насытится первым глава и прикажет
он взглядом одним навести тишину,
закурит блаженно, пойдет и приляжет,
и хлопнет шутливо по заду жену.

* * *

Придумать женщину и свет,
какой она бы источала,
желать ее до склона лет
и, не найдя, искать сначала.

А тут совсем иной просак:
вот рядом женщина, но что-то
и не поймешь ее никак,
и не возьмешь с нее отчета.

И так она уходит, вся
как из придуманного света,
И ничего сказать нельзя,
и не найти на то ответа.

РЫНОК

Знаю, как начинается тучка.
Так вот в красные числа всегда
собиралась на рынке толкучка,
поглощая меня без труда.

И среди предлагаемых старых
табакерок, замков и пимов,
среди комодов, горшков, самоваров
я до ночи бродить был готов.

Ничего, что морозило уши.
Пар валил изо рта и ноздрей,
будто, с горя отчаявшись, души
покидали голодных людей.

Ой, не дешево стоило лихо,
если дорого стоила старь.
Мать была сососедской портнихой,
дед мой был одиночка-кустарь.

Я дите барахолок, базариц,
и сбывать мне до смерти утиль.
Не суди меня строго, товарищ,
если взялся, так смертно суди.

Но опять прихожу я на рынок,
где толпе я навечно сродни,
где глядят на меня из-за крынок
пацанами военные дни.

Только ныне под праздничный говор
обращаюсь я к местным властям
не гонять по базару торговок,
предлагающих vareжки нам.

Мы войны никогда не хотели,
да не знаешь, где ангел, где бес.
Может быть, их талант рукоделья
пригодится еще позарез.

* * *

Одинокая кружит птица
и ломает она крыла.
Не с кем встретиться и проститься
у причала или села.

Значит, в поле на камне диком,
руки вскинув над головой,
не дозваться тебя ни криком,
ни отчаянною мольбой.

Значит, пряча лицо в туманах,
черта за душу теребя,
в городах и больших и малых
никогда не найти тебя.

Где живешь ты, родная, ныне?
Я по-прежнему только твой.
Все дороги прошел земные,
оказалась любовь звездой.

И глядит на меня с печалью
с той немислимой высоты,
белой далью и черной шалью
покрывая свои черты.

В переулке, как в тесном ущелье,
не дойти до тебя к утру.
Перекинув кашне за шею,
мне висеть на большом ветру.

Но как символ того, что небыль
стать во плоти живой должна,
все искрится звезда на небе,
все искрится бокал вина.

На крепкое мужицкое плечо,
хозяину оттаивая веки,
лошадушка дышала горячо,
березовой похрумкивала веткой.
Не поболтать о том, о сем —

не след.

Подаренный заботливою жинкой
еще в войну,
достал мужик кiset,
расшитый

ярким множеством

снежинок.

Мы закурили.
Трубка у него
дымилась так могуче,
как печурка,
что вспомнилось из детства моего,
и вместе с тем
мне было как-то чудно.

Но поотвык

в высоких городах

ходить к реке

с раскосым коромыслом.

И папиросу вдруг я смял в руках,

и вдруг отдался я
нелегким мыслям.
Под медленную всхожесть облаков
я вспоминал ребяческую пору,
и в прошлое глядел я глубоко,
как в светлую
дымящуюся прорубь.
Там было все чуть сказочно,
как снег,
но все сбывалось просто,
безобманно.
Напрасно вдруг уходит человек
туда,
где все так сложно
и туманно.
Уходит от своей лесной земли
и где-то вдалеке по ней скучает,
и чувство детства,
сказок
и зимы
с капроновою елкой покупает.
Мужик уехал...
И уехал я
опять туда,

где мир насмешкой колок.
Стоят в лесу далекие друзья,
стоят в лесу
мои
все тридцать елок.

СОСЕДКА

Тете Вале

Я знаю:

случаи не редки,
когда нет выхода получше.

И вот стучишься в дом соседки
и просишь трешку до получки.

Соседка руки на скатерку
положит,

выслушает молча.

А спохватясь, дает пятерку
и говорит, что трудно нонче.

Потом уйдет тихонько в стайку,
туда цыплят загонит стайку,

наколет дров, воды наносит,
посмотрит вдумчиво на осень.

И эти случаи не редки,
когда тоскливо, одиноко...
И вот стучишься в дверь соседки,
садишься с краешку у окон.
Соседка руки на передник
положит
и расскажет вдоволь
и о своих желаньях редких,
и про свою святую вдовость.
А спохватясь, проронит возглас,
что говорит не то,
что возраст...
Потом нальет ядреней чаю
и улыбнется вдруг
печально.
В окно тихонько стукнут ветки,
обагрены густым закатом.
А ты уходишь от соседки
и чувствуешь себя богатым.

ТОЧКА ОПОРЫ

Пропал, когда не сдержат ноги
и не поднимется рука.

Сомненья, страхи и тревоги
сбьют уже наверняка.

Так в чем опора человека? —
скажи сквозь время, Архимед.
То вновь дожди, то хлопья снега,
глядишь — и человека нет.

А я вот долго собираюсь
еще рубиться сквозь быльё.
Иду и тяжко опираюсь
на сердце кровное свое.



* * *

Мне доставалось — я не плакал,
в ладонях маминых стихал.
Так я когда-то мелко плавал
и ничего не понимал.

Теперь по недругам облыжным
качу без вмятины, как шар.
Я чувствую себя булыжным,
когда решаюсь на удар.

ДУША

Живут на свете трагики и комики,
а кто же я — мне стало все равно.
В моей душе, как в холостяцкой
комнате,
никто не прибирается давно.

Не собрано, на полки не разложено,
а сам хозяин вновь навеселе.
Он видимость создал порядка ложную
газеткою на кухонном столе.

Перегорела лампочка. И ночью я
раздумываю долго, не спеша.
Себя я знаю в темный час и ощупью,
потемки для других — моя душа.

Пускай окно всегда не занавешено,
поведаю печаль свою луне.

Видать, придет еще нескоро женщина,
что разобраться бы могла во мне...

ПРАЗДНИК

С пургою снежной заодно
всем в праздник надо веселиться,
горланить песни, пить вино
и, каблуки разбив,
свалиться.

Но нет веселья. Нет как нет.
Мне карусели этой мало.
И вдруг откроется секрет:
на праздник надо ехать к маме.

Приехать будто невзначай
и там, придя в успокоенье,
читать стихи, пить с блюдца чай
и кушать мамино варенье.

И вот почувствовать с тоской,
сидя за скатертью с кистями,
что все-таки твой дом родной
там, где живет тихонько мама.

Как много-много лет назад,
тобою будет любоваться.
Вздохнет, что ей за пятьдесят,
да и тебе уже, признаться...

Но снега первого светлей
прическа мамы будет в доме,
что сделал дамский мастер ей,
как говорят, по-городскому.

И будет мамино плечо
хорошим, добрым и уютным,
как будто не был ты еще
гонимым, битым и подсудным.

О СЕБЕ

Мне не надо ни жизнью двух,
ни того, что потом дано.
Я желанием жить набух,
как весной в закромах зерно.

Мне бы только сейчас тепла.
только света бы мне сейчас...
Но за окнами вьюжит мгла,
в двери запертые стучась.

Так и ждать мне до дня того,
что, полоску пробороня,
справит сеянье торжество
ради вызревшего меня.

* * *

Сиди-ка ты, пес мой, дома
и раны лижи свои.
Мне тоже теперь знакома
обратная суть любви.

Я боли свои все прячу,
но проклиная кнут,
когда собаку до плача,
как человека, бьют.

* * *

Мир скорых самолетов и авто
нас близостью как будто наделяет,
но как мы часто сетуем на то,
что нас он друг от друга отдаляет.

Скитался я по аэропортам
и жил на шумных суетных вокзалах.
Казалось, что прощались только там,
и что никто не встретился, казалось.

И как представляю я размер земли,
то выглядит на ней букашкой поезд,
где встретиться немногие смогли,
а большей частью продолжают поиск.

Да что земля огромная, когда
знакомый до проулка с детства город
так разлучит нас с кем-то иногда,
что свидеться приходиться нескоро.

Порою на автобусном кольце,
с привычкой все заметней год от года
мы с выраженьем грусти на лице
стоим и машинально ждем кого-то.

Такой веду затем я разговор,
что я и сам привычкой той страдаю.
Кого хотел, не встретил до сих пор
и до сих пор с надеждой ожидаю.

* * *

С утра ко мне стучался час,
он шестьдесят стучался раз.
Но, ожиданьем утомлен,
не впущен был и отбыл он.
Потом стучался день ко мне,
стоял в дверях, стучал в окне.
И, потемневший от обиды,
ушел,
мгновенно позабытый.

И вот в дверях стоит она.
Все:
час, и день, и жизнь — одна.

ЧАСТУШКА

Потеплели вечерние дали,
Примирили с тридцатой весной...
За отсутствие всякой печали,
за понятливый взгляд озорной,
за сережки, продетые в ушки,
за косынку, за смех в тишине,
я тебя называю частушкой,
полюбилась которая мне.
И такую предчувствую удаль,
столько вдруг ощущается сил,
что в любое мне верится чудо —
совершу, только ты попроси.
Жизнь моя превращается в жажду —
не напиться до доньшка дней.
Непрерменно ты станешь однажды
лебединою песней моей.

И тогда, очарованный небом,
благодарный счастливой судьбе,
откровенно, как в соли и хлебе,
буду вечно нуждаться в тебе.
Так звени голосисто и слушай:
долгозвучны слова в тишине.
Называю тебя я частушкой,
полюбилась которая мне.

* * *

С. Киселев

Сяду, как за библию, за Блока,
по страницам пальцем поводя,
и услышу где-то недалеко
шелест долгожданного дождя.

Стройте счастье!
Тысячью гвоздями
он летит на крыши и зонты.
В этот час не зря под деревьями
губы поцелуем заняты.

И не надо шепота, не надо
беглых заверений наугад,

женщина ли будет виновата,
иль мужчина будет виноват...

Их и так немало, равнодушных,
что, в подъезды наскоро уйдя,
на спокойных ласковых подушках
не постигнут заговор дождя.

Вот тебе и счастье, если дождик
у людей бывает ни при чем.
Никого на улице — художник
только помнит радостно о нем.

СЕСТРЫ

У простоты есть младшая сестра,
что, как прическу, носит имя сложность.
Я провожу с ней часто вечера,
а на сердце, а на сердце тревожно.

Впустую спорить сразу устаю.
Однажды подчинившись без отчета,
я чувствую, что вновь не устою,
когда она капризно просит что-то.

Уеду я когда-нибудь туда,
где посреди завьюженных дорожек
живет в лесной избушке простота
в своем домашнем платъице в горошек

И на ладони грустно опершись,
но перед тем ко мне придвинув ужин,
она мою придуманную жизнь
одним своим присутствием нарушит.

Я закурю ядреную махру
и над своей задумаюсь судьбою,
и на крикливость сложности махну,
и обручусь тихонько с простотою.

* * *

Семь ветров ушли до зорьки,
и погасли пять костров.
Три орла следили зорко
за движением миров.

Путь ночей пролег там ныне,
где высокая скала,
где на самой на вершине
в звездах женщина спала.

Возлежала, как хотела —
на руке была щека.
И просвечивало тело
сквозь туманные шелка.

И понятливо земная
не поскрипывала ось.
От тепла природы в мае
Сладко женщине спалось.

И на этом плато горном
мирным вздохом в унисон
устанавливалась норма
состояния времен.

ПРОРОК

Не понимаю, как все это вышло:
в спокойствии живу и тишине,
хотя всегда трясла судьба за дышло,
и сразу предъявляла счета мне.

Наверное, дошли мои молитвы,
избавился от всех тревог и бед,
как будто нет за право выжить битвы,
а потому и сильных болей нет.

Но я-то знаю, что страданья вечны —
одних покинут, вселятся в иных.
Из-за меня теперь другой повенчан
с реальностью превратностей земных.

И вот его куда-то гонит лихо.
Скиталец новый, альтруист уже
людей несчастных созывает тихо
и кровь свою находит на ноже.

Он, как посланник ангела и черта,
пройдет везде, толкаемый людьми.
К нему — ни пониманья, ни почета,
ни даже самой маленькой любви.

Но в тот же час, когда над головами
по всей земле начнет гулять порок,
появится он с ярыми словами,
и скажут люди: «Это он, пророк!»

Мне эти ситуации знакомы,
привычно мне глядеть толпе в глаза.
И вот сегодня вновь бегу из дому
и все молитвы я беру назад.

МОЯ ФАМИЛИЯ

Кто-то мнением одержим,
что с фамилией такой мне,
чтоб печататься покойней,
нужен очень псевдоним.

Что ж, ребята, может, правый
ваш совет. Откуда знать...
Но сознаться коль по правде,
вы должны ее признать.

...Немец по происхожденью,
барин, черт его побрал,
он дворы крестьян в деревне
все «фамилиями» звал.

Раз приказчик длинноногий
в самый бедный дом пришел
и буренку за налоги
со двора того увел.

Дед мой был ямщик по духу,
хоть и не был ямщиком,
если свистнет раз по уху —
будто свистнул он кнутом.

Пробурчав со зла надсадно:
— «Чтоб хвамилию мою...» —
сжег он барскую усадьбу,
всю ее «фамилию».

У обугленной ограды,
приподняв кулак с земли,
взвизгнул барин в гневе:—«Гады...».
Так Гаденовы пошли.

...Фронт.
Береза.
Дым клубится.
Притащили «языка».

Мой отец признал в том фрице
сразу барского сынка.

И ему картина детства
тут представилась на миг.
Немец вдруг сорвался с места,
«Гады!..» — сплюнул тот «язык»..

Так отец врагу был гадом
в сорок первый грозный год.
И за младшим лейтенантом
шли «гаденовцы» вперед.

У солдат бы вы спросили,
как погиб он поутру...
Был отец нутром России,
немцу был не по нутру.

Мне фамилии не надо
никакой другой. Она,
Словно высшая
награда,
по наследству
вручена.

ОГНЕННЫЙ КОНЬ

Я все продумываю заново,
и нет сомнений у меня,
и снова вижу ясно зарево
и огненного коня.

На горизонте, красной гривой
не шевеля, стоял тот конь.
И лишь заря была игривой.
Я у бровей держал ладонь.

Не этажерочный, не комнатный,
хотя в дали казался мал,
стоял он, будто в землю вкопанный,
расплавленный, как металл.

Чуть тронься он, заря погасла бы,
и сам бы он тогда погас.

Но что-то было в нем Пегасово,
а это точно был Пегас.

Всегда поэзия поручится:
знавал он смелых седоков —
носил тенгинского поручика
под сень кавказских облаков.

У всех, себя отдавших скорости,
когда звала к строке борьба,
была одна судьба без корысти,
одна — Отечества судьба.

И всяк седок, сраженный пулею,
валился на руки ко мне,
и мне подумалось: «Смогу ли я
скакать на огненном коне?»

Других немало есть у времени,
но и с приходом новых дней
стоит он в зареве без стремени
на холме памяти моей.

* * *

Пуста и ничему не рада
душа, лишенная борьбы.
Не испрошу вовек пощады
у драматической судьбы.

В какие только передряги
не попадал за тридцать лет —
горел, тонул, пускался в драки,
голодовал, ломал хребет.

Безумцы, а и те просили
остепениться навсегда.
Откуда все же брал я силы
еще на многие года?

И при любом судьбы ударе
обязан людям я вдвойне.
Они меня всегда находят
и не дают погибнуть мне.

* * *

Наверное, знают не все,
что есть у поэтов мамы,
ждушие на крылечках
странных своих детей.

То, что со мной происходит,
моя понимает мало,
но на божничке место
отводит книжке моей.

Потом провожает тихо,
все больше впадая в горесть..
И вновь меня отрывают
от маминого плеча —

пушкинская неистовость
и лермонтовская гордость,
есенинское волнение
и блоковская печаль.

Мамы, вы нас простите...
Песней придем обратно.
Люди, а вас прошу я,
с мертвым или живым
делайте, что хотите
с нашим беспутным братом,
но не поэтам ставьте
памятники,
а им.



Нас яростно время корчует и корчит,
но только меж нами закон есть такой:
один засмеется — другой захохочет,
заплачет один — успокоит другой.

Так панике мир никогда не дается,
и если в бою справедливом каком
погибнет один — жив другой остается,
и вера в добро продолжается в чем,

* * *

Избрал я путь себе прямой, жестокий,
но, чтобы ярость духа не терял,
моей душе, как паровозной топке,
необходим горючий матерьял.

Когда-то там, в ее потемках древних,
на шкуре собственной изведав зло,
отчаянье ударило по кремню
и все во мне пещерное зажгло.

Теперь во мне сгорают боль и муки,
сомнения, печали и разлуки,
вино вступает с пламенем в игру.

Иду "я, одержимый страстью века,
за счастье птиц, деревьев, человека
к любви, справедливости, добру.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Махалов. К жизни он шел в ученики</i>	3
Первый час	8
Спор	9
«Когда заходит речь о славе...»	10
«И приведет меня печаль...»	11
В Киренске	12
«Задубев от сибирского ветра...»	14
«Душе пожар необходим...»	17
Дух живой	18
Масленица	21
«Как будто грустная немножко...»	23
Петух	25
«Как по всей таежной Лене...»	27
Старухи	29
Береза	31
Соловей	32
«Живет, векует бабенка...»	34
«Дверь закину на щеколду...»	36
Снежные стихи	38
Туман	42
Горячий камень	44

У писаницы	46
Третья полка	48
На подхвате	50
Баня	53
«Над останками мамонта...»	55
Семиречье	58
Егенсу	60
Мангышлак	62
Двое	64
В юрте	66
«Живешь то склонный к суете...»	68
В больнице	71
«Все может с человеком приключиться...»	73
Аксоран	75
Весеннее	78
Перевал Архарлы	80
Май	83
«Говорила: — Будет ведро!»	85
Утро	87
Мною открыта страна	89
Суд	91
«Давно я желаньем одним дышу...»	94
Обращение к женщине	96
Суровость и нежность	98
«Вот и мне не до розовых тем...»	99
«Не искал, а пришла ты сама...»	101
Удача	102
Бабушка	104

«Мы теперь живем в деревне Греховке...»	107
Идиллия	109
«Придумать женщину и свет...»	111
Рынок	112
«Одинокая кружит птица...»	114
В краю тридцати елок	116
Соседка	120
Точка опоры	122
«Мне доставалось — я не плакал...»	124
Душа	125
Праздник	127
О себе	129
«Сиди-ка ты, пес мой, дома...»	130
«Мир скорых самолетов и авто...»	131
«С утра ко мне стучался час...»	133
Частушка	134
«Сяду, как за библию, за Блока...»	136
Сестры	138
«Семь ветров ушли до зорьки...»	140
Пророк	142
Моя фамилия	144
Огненный конь	148
«Пуста и ничему не рада...»	150
«Наверное, знают не все...»	152
«Нас яростно время корчует и корчит...»	154
«Избрал я путь себе прямой, жестокий...»	155

**Геннадий Григорьевич
Гаденов**

В КРАЮ ТРИДЦАТИ ЕЛОК

Стихи

Редакторы В. Махалов, Л. Глебова
Оформление Г. Кравцова
Технический редактор Г. Адова
Корректор В. Кулакова

Сдано в набор 19.VII.1971 г. Подписано к печати
19.I.1972 г. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага типографская №

Усл. печ. л. 4,2. Уч-изд. л. 3,29.

Тираж 5000 ОП00713. Цена 35 коп. Заказ 7989

Кемеровское книжное издательство,
Кемерово-99, Ноградская, 5

Полиграфическое объединение «Томь»,
Кемерово-99, Ноградская, 5



Цена 35 коп.

КЕМЕРОВО 1972